

Ромэн Гафанович Назиров<sup>1</sup> (1934—2004) известен прежде всего сообществу достоевсковедов. В состав классических трудов этой отрасли отечественного литературоведения вошла его книга «Творческие принципы Достоевского», значительный ряд статей. Кроме того, он был задействован и в составлении комментариев к первым томам «фридлендеровского» собрания сочинений Достоевского.

Признан он и как исследователь Чехова, менее известен как фольклорист, мифолог и культуролог. Он поражал своей эрудицией, умением найти фактические аргументы в споре на самые разные темы, обладал экстраординарным обаянием и весьма сложным характером. Словом, он был ярким представителем плеяды литературоведов, выдвинувшихся во вторую половину 1960 годов и во многом «сделавших» современное литературоведение. Для достоевсковедов его имя стоит в одном ряду с именами В. А. Туниманова, Г. К. Щенникова, В. А. Свительского.

Однако после его смерти эти представления пришлось если не пересмотреть, то существенно расширить. В общем, его ученикам и старшего, и младшего поколения было известно, о том, что у Ромэна Гафановича есть что-то неизданное. Обычно в связи с этим говорилось о докторской диссертации «Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе: сравнительная история фабул». Она была защищена в 1995 году в виде научного доклада в Екатеринбурге<sup>2</sup>, однако полностью была написана уже в конце 1970 годов.

В 2003 году мы вместе с Б. В. Ореховым помогали ему разбирать старые бумаги. Многое он при нас же тогда выбрасывал (он основательно почистил свой архив), многое он с нашей помощью разложил по папкам. Потом мы поняли, что он позвал нас только на завершающем этапе работы, собственно процессы сортировки и систематизации архива мы не наблюдали.

После 2004 года мы с разрешения наследников и вдовы Ромэна Гафановича начали изучать его архив<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Публикация опирается на текст доклада, прочитанного нами три года назад на конференции «Записные книжки писателей: факт — текст — эдиция» (Пушкинский дом, 26—27 ноября 2011). Поскольку в 2011 году наше знание о назировском архиве было значительно более фрагментарным, доклад содержит характерные неточности, отмеченные нами в сносках (также в сносках указаны ссылки на архив и публикации архивных документов, осуществленные после 2011 года). Вместе с тем, нам показалось необходимым опубликовать его практически в том виде, в каком он был прочитан, как свидетельство первого непосредственного знакомства с одной из важнейших частей архива Р. Г. Назирова.

<sup>2</sup> Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе. Сравнительная история фабул. Автореф. дисс. ... докт. филол. н. Екатеринбург, 1995.

<sup>3</sup> Впрочем, по ряду обстоятельств систематическая работа с архивом началась только с 2008—2009 года. Это хорошо видно, например, по библиографии посмертных публикаций неизданных при жизни трудов

Обнаружилась масса интереснейших вещей. Помимо докторской диссертации (в нескольких полных вариантах), нашлись подготовительные материалы к ней. Причем в составе этих материалов немало законченных статей, порой вырастающих до размеров монографий (например, «История усадебного сюжета») и обширных летописно-исторических рабочих сводов («Жизнеописание Гоголя», «История XIX века» и пр.) Нашлись историко-теоретические работы разных жанров: «История русского формализма»<sup>4</sup>, «История исторического мышления»<sup>5</sup>, «Становление мифов и их историческая жизнь»<sup>6</sup> и др.

Нашлось несколько монографий по Достоевскому: «К вопросу об автобиографичности романа Достоевского «Игрок»<sup>7</sup>, незаконченная монография о «Бесах»<sup>8</sup>, большая статья по «Скверному анекдоту»<sup>9</sup>, курс лекций «Достоевский: эстетика и поэтика»<sup>10</sup> и пр.

Нашлись также целые залежи, так сказать, служебных материалов: черновики (хотя те из них, что сохранились, обычно представляют собой далеко не первые черновики<sup>11</sup>), рабочих тетрадей (иногда плавно перетекающих в монографии и авторские справочники) и дневников.

Записных книжек в привычном понимании этого слова у Назирова почти нет. Несколько оставшихся относятся уже к последним годам жизни, представляют собой хаотическую мешанину телефонов, домашней бухгалтерии, расписания, афоризмов и т. д.

Дело тут в многоступенчатости схемы, по которой работал Р. Г. Назиров. Записные книжки (а еще чаще заметки на отдельных листках) для него представляли собой только первоначальный этап работы, сам по себе ценности не имеющих, это даже не черновик. Черновик у Назирова представляет собой уже связный текст, который, однако, на пути к беловику проходит еще через несколько стадий редактирования и переписывания. Иными словами, записная книжка, как правило, быстро превращалась в рабочий черновик, после чего, по всей видимости, уничтожалась (потому сохранившиеся записные книжки так «молоды»).

Однако у него есть еще и дневники. Хронологически они охватывают период от 1950 до 1971 гг. К концу этого периода интенсивность и частота записей в них падает, однако они сохраняют цельность до 1970 года (1971 представлен только одной тетрадью — дневником юбилейной конференции по Достоевскому).

---

ученого; см.: *Орехов Б. В.* Библиография посмертных публикаций Р. Г. Назирова // Назировский сборник. Исследования и материалы. Уфа, 2011. С. 92—97.

<sup>4</sup> Опубликовано в: Назировский сборник. С. 62—85.

<sup>5</sup> Опубликовано в: Назировский архив. 2014. № №. С. 12—87.

<sup>6</sup> Опубликовано: *Назирова Р. Г.* Становление мифов и их историческая жизнь. Уфа, 2014.

<sup>7</sup> Опубликовано в: Назировский архив. 2013. № 1. С. 8—93.

<sup>8</sup> Опубликовано в: Назировский архив. 2013. № 2. С. 6—83.

<sup>9</sup> Опубликовано: *Назирова Р. Г.* Гоголевская традиция и «Скверный анекдот» Ф. М. Достоевского // Достоевский и мировая культура: альманах. № 32. СПб., 2014. С. 181—196

<sup>10</sup> Опубликовано: *Назирова Р. Г.* Достоевский: эстетика и поэтика. Уфа, 2014.

<sup>11</sup> См. о «многоступенчатом» характере работы Назирова: *Орехов Б. В.* Текстология Назировского архива // Назировский архив. 2013. № 1. С. 144—159.

⤿

Дневники Назирова за 20 лет представляют собой более сотни тетрадей (как обычных ученических, так и самодельных). Почерк почти не меняется все это время<sup>12</sup>, помарок и исправлений в них чрезвычайно мало.

Именно с этим связано первое интересное соображение по поводу этих дневников: учитывая манеру работы Ромэна Гафановича, мы должны предположить, что это не спонтанные записи. Это уже перебеленный текст, которому, скорее, всего предшествовали какие-то черновые записи.

В них очень редко встречаются обычные для текстов этого жанра спонтанные, резкие тематические переходы, обрывы мысли и т. д. Они подчеркнута литературны, что называется, «отделаны».

Собственно, эта литературность декларируется совсем юным Назиривым сразу же. На первой странице дневника он пишет:

«Если не умру, я опубликую многотомный дневник в 2000-м году.

Это будет “Исповедь” человека двадцатого века<sup>13</sup>. А сколько повестей, рассказов и романов (sic!) можно наделать из этого»<sup>14</sup>.

Аналогичные признания встречаются еще очень часто.

Таким образом, на дневник Назириов изначально возлагал функции литературной мастерской. Здесь начинается, пожалуй, самое неожиданное для всех знавших лично или читавших Назирова, открытие: нигде в этих дневниках до самого их конца он не рассматривает себя как литературоведа. Везде он говорит о себе как о писателе, литераторе. Даже поступая в аспирантуру МГУ и участь в ней (кандидатская диссертация защищена в 1966 году), он этот этап своей жизни рассматривает как способ войти в литературу, а не в науку о литературе (между прочим, это заставляет предположить, что окончание дневников связано именно с его переориентацией на научную деятельность).

Еще одна неожиданность назировских дневников — его острое внимание к современной литературе. Глазков, Наровчатов, Смеляков, Казаков, Дудинцев, Окуджава, Солженицын, Бродский и многие другие, словом, вся советская литература постоянно присутствует в его дневниках. Многие из этих имен вообще не звучат нигде в его опубликованных и законченных текстах и упоминаются только здесь, в дневниках. Например, это Евтушенко (первый раз он назван в дневнике «Евтушенковым», Ваншенкин, Заболоцкий, Вознесенский и пр.)

По этим суждениям вполне можно составить представление о его эволюции. В начале (дневник начинается в 9 классе) его литературные кумиры — Горький, Шолохов и Бальзак, понятый в строго официальном советском прочтении. Бальзака, однако, он читает по-французски: «Мои успехи во французском языке хороши. Занимаюсь им 7 месяцев и уже свободно перевожу с французского. <...> Я перевел

<sup>12</sup> Позднее более детальный анализ почерка, проведенный Б. В. Ореховым, существенно уточнил это беглое наблюдение, сделанное нами на относительно ограниченном материале. См.: Орехов Б. В. Текстология Назировского архива. С. 147—149.

<sup>13</sup> Значит ли эта фраза, что Назириов-школьник уже знал «Исповедь сына века» А. де Мюссе?

<sup>14</sup> АРГН, оп. 4, д. 1, л. 002.

на русский язык целый рассказ Бальзак “El Verdugo”, из ранних романтических рассказов его, сейчас перевожу “La Berezhina» (28 июля 1950)<sup>15</sup>

Дальше появляются уже другие персонажи: «Кончаю “Education sentimentale” на французском языке. Прочел первую треть Лесажевского “Жиль Бласа”. Прочел книжечку стихов Брюсова, “Избранное” Есенина и вот читаю Эмиля Верхарна, в Ленинграде читывал Гейне и Блока. Ни Блок, ни Есенин, ни тем более холодный и вымученный Брюсов не трогают меня. Я люблю Гейне и мне нравится Верхарн»

Интересно, что суждения Назирова, особенно со второй половины 1950-х, идут вразрез не только с официальной позицией советской критики, но и с господствующим мнением «интеллигентского» сообщества. Те же Евтушенко и Вознесенский, например, активно не нравились Ромэну Гафановичу, других ключевых «персонажей эпохи» он мог ценить совсем не за то, что в них находили современники: «Странное время, странные положения! Хороший, неглупый и честный человек — Никита Хрущев — громит живые течения в искусстве. Сами же эти живые течения представлены в основном подлецами. Голова кругом идет: защищать Женю и Андрея? Не стоят они этого! Защищать абстрактную живопись? Но я ее не люблю. Почему же мне все-таки не нравится вся эта истерия? Очевидно, мне противна сама идея регламентации искусства.

<...>

Нужна традиция, русская традиция, из нее невозможно вычеркнуть Гумилева, Ахматову, Пастернака, Мандельштама, Цветаеву. Это мост со старой культурой, необходимая связь. Белла Ахмадулина — тоже на этом мосту».

Здесь можно заметить, как эстетические претензии к «Жене и Андрею» (они стилистически чужды Назирову), так и более глубокую критику. Очевидно, что в них он не чувствует того самого моста, который в эту пору ему уже кажется необходимым.

В дневниках Назирова есть несколько сквозных персоналий и несколько сквозных тем. До середины 50-х годов это Бальзак, Шолохов, синтез жизни и искусства. Причем, последняя тема всегда дается в соотношении с собой; вот показательная цитата «Ленинградского дневника 1952 года»<sup>16</sup>: «У меня мещанская слабость сравнивать себя с великими, со славными.

Сервантес владел шпагой не хуже, чем пером, это так; он даже потерял руку в сражении при Лепанто. Томас Майн-Рид был капитаном кавалерии. Степняк-Кравчинский, автор “Карьеры нигилиста”, убил кинжалом сатрапа. Это были люди, писавшие о себе.

Но были другие. Великий Бальзак, автор возвышенных и умных книг, напоминал половинку пикового туза, семейство Eweliny de Rzewuskich Ganskoj называло его насмешливо “герцог бильбоке”. Во Франции бильбоке — шарик для детской игры. Но Бальзак был великий человек, пусть толстый, qui importe?

Эмиль Верхарн, поэт противоречивых настроений, в основе своей здоровый

<sup>15</sup> АРГН, оп. 4, д. 1, л. 011.

<sup>16</sup> Частично опубликовано: Назиров Р. Г. Ленинградская тетрадь. Фрагменты дневника // Нева. 2014. № 6.

человек, но отравленный тлетворными веяниями времени, поразил меня обликом буквоеда-нотариуса со своим пенсне на фоне его неистово жизнерадостных и буйных гимнов фламандской силе и грубой красоте.

Артур Конан-Дойл, автор “Шерлока Холмса”, был слабый и болезненный человек. Его герои — сильные и независимые люди, а он сам умер, кажется, от разрыва сердца, не успевши вылезти из винного погреба своего дома.

Можно ли быть творцом больших произведений и великим певцом жизни, оставаясь таким тщедушным и жалким подросточком, как я?»

Со второй половины 1950 годов появляются в его дневниках Пастернак (едва ли не наиболее часто упоминающийся поэт), советская «неофициальная» поэзия (Глазков, Наровчатов и пр.), темы отношений литературы и власти, чуть позже Назиров заинтересуется набоковской «Лолитой»<sup>17</sup>, практически сразу после публикации — «Одним днем Ивана Денисовича».

Отличительной чертой этого периода является именно историчность мышления Назирова. Так, «Лолиту» он помещает в контекст Достоевского: «По сути дела, “Лолита” есть перенесение в плоскость такого, культурного модернизма двух тем Достоевского: темы патологической любви к незрелой девочке и темы убийства. Но с изысканным стилем и с полным раскрытием всех факторов, полное отсутствие тайны, необъяснимости, символа. По сравнению с Достоевским, это выглядит игрой. Да, обточка уже чересчур хороша. Это значит, что силы мало.

Красивый стиль свидетельствует о слабости духа».

Причем этому пассажу предшествует долгое развитие темы Набокова: выдержки из критического фельетона, экскурс в историю семьи писателя, последовательный разбор «Лолиты» и т. д. Все еще считая себя литератором, Назиров здесь уже действует как литературовед, объективирует то, над чем думает и стремится к историчности восприятия и объективности суждений.

Это накладывает отпечаток и на иные суждения:

Борис Пастернак — самый модный сегодня поэт. Это теневой, недоступный широкой публике поэт, к которому официальная критика относится с враждебной настроенностью. Пастернак — оппозиционный поэт. Все годы сталинского режима он лишь переводил Шекспира.

Что же он пишет теперь? Как и прежде, очень яркие и точные пейзажи “с настроением”. Как и прежде, о сущности искусства. Но исчезла историческая тематика и появились стихи на религиозные темы (евангелие): “Чудо”, “Рождественская звезда”, “Дурные дни”, два стихотворения о Марии Магдалине, “Гефсиманский сад”. Серьезные, религиозные, очень красочные, очень своеобразно и прямо-таки волшебным образом создающие впечатление евангельского времени и в то же время

<sup>17</sup> См. недавнюю публикацию: Назиров Р. Г. Несколько слов о знаменитом Набокове // Назировский архив. 2014. № 3. С. 134—147.

“осовременивающие” евангелие. Неужели это написано в последнее время? Рим Ахмедов<sup>18</sup> утверждает, что да»<sup>19</sup>.

Может быть, определенное влияние на изменение взглядов Назирова, на их расширение оказал и Достоевский. Хотя, надо сказать, он — далеко не самый частый гость на страницах его дневника.

Во-первых, Назиров прочитал его сравнительно поздно. Вот первое упоминание о Достоевском в дневнике (16 февраля 1953 года):

Прочел «Преступление и наказание». Сила. Достоевским русские могут гордиться. Это очень больной, но и очень честный человек. Он писал с некоторым смещением вправо от критического реализма, но наряду с этим правым смещением было крайне левое обличение. Противоречивая натура Раскольников и Соня — исключения с исторической точки зрения, но есть и замечательные типы: Катерина Ивановна Мармеладова, живое лицо; Разумихин неплох; Свидригайлов очень верен, это дурной отпрыск от древа лишних людей; Петр Петрович Лужин, мне захотелось даже избить его, словно живого, да он и жив еще; жалкий, но искренний Лебезятников; Авдотья Романовна тоже тип, в маленковском понятии типичности. Что ж были такие женщины, были и есть, но как их мало!

Но такую книгу кончать евангелием — тоже в своем роде преступление. Мне помнится, жизнь наказала за это Достоевского.

Его нужно изучать и изучать; какой психолог! Как безошибочно правдивы изображения самых клокочущих страстей и бурных вспышек! А самоубийство Свидригайлова, просто и страшно. А как Раскольников дважды входил в участок, чтобы признаться. Все это жизнь и правда.

Еще прежде прочел я «Бедные люди». Его Макар Деушкин — трагическая разновидность гоголевского чиновника, из всех гоголевских повестей, единого типа. Кончающий письмо последний, отчаянный и ненужный вопль насчет фальбалы — это трагическая вариация шишки под самым носом алжирского бея. Это тоже хорошая книга.

На днях же я прочел «Дым» Тургенева: конец хорош, но рассуждения насчет дыма — глупость. Жизнь человечества — дым? Человечество — дым? Пойдите же, через 100 лет коммунизм полностью воцарится на всей земле и человечество освободит головы и руки, чтобы овладеть вселенной. Весь вопрос в том, успеет ли беспредельный человеческий гений создать себе резервную площадку для жизни, космическую станцию, к тому времени, когда остынет солнце. Я верю — успеет. Как бесконечна вселенная, так бесконечна будет борьба людей за

<sup>18</sup> Ахмедов Рим Билалович (род. в 1933) — башкирский писатель, переводчик, этнограф. В 1953—1958 году он учился в Литературном институте. Цитируемая дневниковая запись Назирова начинается с указания, что Ахмедов приехал в Уфу на каникулы.

<sup>19</sup> Запись от 12 августа 1957 г. АРГН, оп. 4, д. 36, л. 566.

жизнь против слепой природы. История еще не начиналась по-настоящему»<sup>20</sup>.

Это — первое письменное суждение о Достоевском человека, который впоследствии стал одним из признанных авторитетов науки об этом писателе.

Что с этой точки зрения мы видим в этой цитате? Во-первых, она повторяет в общем расхожие мысли не только массового, но и академического восприятия Достоевского в то время: «заблуждающийся гений», «больной талант» и т. д.

Во-вторых, молодой Назиров в своём отзыве исключает из числа исторических (то есть правдивых в его тогдашнем понимании) типов Раскольников и Соню. И это закономерно — потому, что они не укладываются в принципы социально-исторического детерминизма («смещение вправо от критического реализма»). В этом смысле они действительно «исключительные» типы.

В то же время нельзя назвать это восприятие «слепым», совершенно нерелексивным. К примеру, Назиров упоминает о «маленковском понятии типичности». Имеется в виду доклад Г. М. Маленкова на XIX Съезде ВКП (б), в котором тогдашний секретарь ЦК партии затронул в числе прочего и проблемы литературы: «Типичность соответствует сущности данного социальноисторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным»<sup>21</sup>. До некоторой степени это определение в 1952 году обогащало партийную критику и теорию литературы. Правда, Маленков «позаимствовал» его из Литературной энциклопедии 1925 года, из статьи репрессированного Д. Святополк-Мирского<sup>22</sup>, о чем восемнадцатилетний Р. Г. Назиров мог, разумеется, и не знать. Будущий достоевковед, таким образом, уже «настроен» на ответственное, теоретически обоснованное восприятие писателя, хотя вполне естественно для своего времени ищет опоры в известной ему методологии.

Показательна также критика финала романа, в котором советского школьника (правда, читающего уже в оригинале Бальзака и Верхарна) возмущает евангельская тема. Надо ещё обратить внимание на то, что при всей своей отделанности это непосредственная реакция: Ромэн Гафанович ещё не начитан в достоевковедении, не очень хорошо знает биографию писателя, и, по-видимому, имея в виду каторгу, считает, что «жизнь наказала» Достоевского уже после «Преступления и наказания».

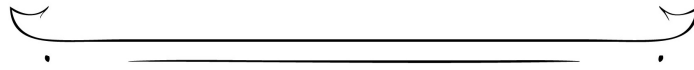
Но вот дальше идет тургеневский «Дым», который Назиров (между прочим, очень в духе Достоевского) понимает как проявление исторического пессимизма, преодолеваемого, однако, совершенно не по-достоевски — с помощью утопической картины вполне в духе своего поколения.

Другие ранние суждения Назирова о Достоевском идеологически продолжают это прочтение: «В сентябре я достал роман Достоевского “Бесы”. Книжка довольно

<sup>20</sup> АРГН, оп. 3, д. 2, л.301.

<sup>21</sup> Маленков Г. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). М., 1952. С. 115

<sup>22</sup> Святополк-Мирский Д. П. Реализм // Литературная энциклопедия в 11 т. М., 1935. Т. 9. Стб. 548–576.



мутная, но вообще Достоевского я глубоко ценю как художника. Теперь его очень мало издают, и это вполне понятно». Однако в эмоциональном аспекте назировское восприятие текста Достоевского уже подразумевает глубокую симпатию (или эмпатию?):

За два дня я в каком-то исступлении прочел «Братья Карамазовы» и «Большие надежды». Обе книги произвели на меня сильное впечатление.

«Братья Карамазовы». Достоевский местами достигает огромной силы. Пленителен образ Грушеньки, что-то в ней было родное и знакомое. Особенно изумительно, когда вдруг в самом Федоре Павловиче замечаешь человеческое, сродственное. Но конец плох, скверна идея, невыразимо тяжела история «банной мочалки» в которой протест Илюши сказан так нездорово, исправленно. Из братьев мне ближе всех, кажется, Иван, Митя тоже очень симпатичен; Алеша нравится менее всех. А Грушенька — я ее люблю. Но конец плох. Нигде так не сказывается враждебная идеология как в развязке<sup>23</sup>.

Заметим, что зрелый Назиров уже не склонен был противопоставлять Достоевского-мыслителя и Достоевского-художника, стараясь, скорее, синтезировать двоящийся в советском культурном сознании образ писателя. Равным образом пересмотрел он и оценки конкретных текстов (тех же «Бесов», например<sup>24</sup>). С этой точки зрения, дневник Назирова — интересный «срез» механизма восприятия и его постепенного углубления и развития.

В целом же эти дневники представляют собой довольно странный в жанровом отношении текст. С одной стороны, это не столько личная хроника, сколько творческая лаборатория с очевидной мнемонической и рефлексивной функцией. С другой стороны, явно заметен своеобразный «эстетизм» этих дневников. Назиров не только пишет о себе, но и в каком-то смысле создает свой биографический образ. Интересный вопрос: насколько такая структура характерна или оригинальна для дневниковой литературы XX века?

Есть у этого дневника и историческое значение. Он дает бесценный материал для понимания развития самого Назирова, как ученого и как человека, что для нас, разумеется, крайне важно. Но этот же дневник — исторический документ, фиксирующий эволюцию целого поколения, сыгравшего важную роль в отечественной истории. Финал у этого дневника — грустный:

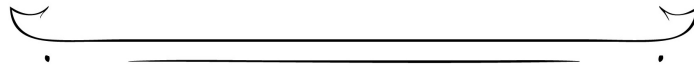
Этим летом в «Русской литературе» (№2 за 1970) появилась моя статья «Герои романа “Идиот” и их прототипы». Я был очень доволен, сейчас прошло.

Всю мою жизнь заняли младший сын Стасик и очень тяжелая

<sup>23</sup> АРГН, оп. 4, д. 2, л. 305—306.

<sup>24</sup> См. ссылку выше на незаконченную назировскую монографию о «Бесах».





болезнь моей матери. Могу выполнять только нетворческую работу.

Мама умерла 12 ноября 1970 года.

Не буду больше вести дневник. Думаю, никогда.

Октябрь 1971 года<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> АРГН, оп. 4, д. 96, л. 0030. Запись о смерти матери графически отделена от остальных.